

Л. Н. ЛУЗЯНИНА

**ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЗМА В ТВОРЧЕСТВЕ КАРАМЗИНА —
АВТОРА «ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО»**

Среди писателей переходной эпохи — последних десятилетий XVIII и первых XIX в. — нет писателя, чье творчество столь многогранно отразило бы сложные пути формирования историзма в литературе и общественной мысли, как творчество Н. М. Карамзина. Ему суждено было, вобрав многообразный комплекс идей «осмнадцатого столетия», пережить их историческую проверку и идти далее в новый век с его новыми требованиями, критериями, новыми испытаниями. Писатель и человек XVIII в., Карамзин достойно вошел в литературу нового времени, и вошел прежде всего как автор «Истории государства Российского», произведения, вокруг которого кипели страсти «молодых якобинцев» 1818 года, произведения, к которому в трудные годы Михайловской ссылки вдумчиво обращался Пушкин, поражаясь «подвигом честного человека». Забывался автор «Бедной Лизы» и «Марфы Посадницы», отдалялись трагические перипетии конца XVIII в., а «История государства Российского» волновала какой-то неясной тревогой, в ней точно слышались отзвуки так и не решенных XVIII в. вопросов: «Начто жили предки наши? Начто будет жить потомство?»¹ На эти поставленные Карамзиным еще в 1793 г. вопросы отвечала русская литература 1820-х гг., которую теперь занимали первостепенные проблемы исторической детерминированности, исторической закономерности, проблемы романтического характера.

Многотомный труд Карамзина воспринимался как произведение глубоко современное, отвечающее на самые актуальные политические и историко-философские запросы, волнующие, как «свежая газета». Тем самым устанавливалась живая связь исторической мысли 1820-х гг., философско-художественных исканий по-

¹ Карамзин Н. М. Избр. соч. в двух томах. М.; Л., 1964, т. II, с. 251. Далее ссылки на это издание в тексте с указанием тома и страницы.

вого времени с предшествующим этапом. Важнейшим звеном в цепи оказывалась «История государства Российского», равно обращенная как к трагическим итогам века Просвещения, так и к новому времени.

* * *

Понятие историзма, все чаще употребляемое сегодня в связи с характеристикой культуры эпохи Просвещения, требует известного уточнения и конкретизации, ибо это понятие отнюдь не однозначно всем тем временным взглядам, которые имеют место в сознании определенной эпохи. Широко распространенным и в XVIII в. было, например, представление, уходящее своими корнями в раннее средневековье, связанное с христианскими концепциями бытия.

Об элементах историзма можно говорить лишь в том случае, когда временные связи мира преломляются сквозь призму воспринимающего мир субъективного сознания, когда самое это сознание начинает выступать в качестве некоего критерия оценки исторического бытия человечества.

Рационалистический принцип мышления просветителей порождает тот особый тип восприятия истории, который чаще всего называют антиисторизмом. Между тем именно веку Просвещения принадлежит неоспоримый приоритет в создании новой философии истории.

«Французы ничуть не ниже англичан в истории, — отмечал в 1824 г. Пушкин. — Если первенство чего-нибудь да стоит, то вспомните, что Вольтер первый пошел по новой дороге — и внес светильник философии в темные архивы истории».² Иное дело, что история человечества представала перед судом философского разума клубком пеленых, «неразумных» заблуждений. Просветители были беспощадны к истории, но все они от Монтескье до Гердера стремились понять ее смысл, уловить ее закономерности, выявить ее причинно-следственные связи, а главное, уяснить смысл своей эпохи в соотнесенности с прошлым, поставить современное сознание человечества в один ряд с сознанием людей минувших эпох.

Именно на этом уровне мы можем выделить качественное различие в типе исторического мышления просветителей и людей XIX в. Первые рассматривают прошлое синхронно с современностью.³ Девятнадцатый век пришел к последовательному обоснованию диахронического принципа в восприятии прошлого. Поэтому задача исследования историзма — это прежде всего выяснение того, как и вследствие чего человеческое сознание открыло

² Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 16-ти т. М.; Л., 1937, т. 13, с. 102.

³ См.: Баткин Л. М. К проблеме историзма в итальянской культуре эпохи Возрождения. — В кн.: История философии и вопросы культуры. М., 1975, с. 167—189.

качественно новый принцип исторического мышления. Именно на этом пути лежат проблемы мировоззрения и творчества Н. М. Карамзина.

* * *

Органичность «Истории государства Российского» в творчестве Карамзина довольно долгое время подвергалась сомнению; обращение его к истории понималось как отказ от литературной деятельности вообще, хотя еще в 1916 г. Б. М. Эйхенбаум очень точно заметил: «К истории Карамзина привели долгие эстетические опыты и философские размышления». По наблюдению исследователя, эстетика и поэтика Карамзина с самого начала его сознательной литературной деятельности определена особым мироощущением: «Все прошлое — уже тем одним, что оно отодвигается к горизонту, — становится источником поэзии».⁴ Интуиция бытия становится основным источником рассудка и воображения. Способность человека познавать мир и самого себя оказывается для Карамзина и философией, и поэзией. Практическая деятельность человека связывалась Карамзиным с проблемами политики и нравственности, и весь этот довольно сложный комплекс идей преломлялся сквозь призму крепнущего с годами убеждения: человек не способен предугадывать последствия дел, им совершаемых, не властен изменить хода вещей, хотя сам он вовлечен в стремительный водоворот страстей земного бытия. Так, уже в 1790-е годы в повестях и публицистике, а отчасти и в лирике Карамзина намечался выход в общие проблемы философии истории, складывался специфически эмоциональный прообраз исторической концепции.⁵

Особое место среди материалов, помещенных Карамзиным на страницах «Московского журнала», занимает отрывок из «Мифологии» Карла Морица, широко известного как автора психологического автобиографического романа «Антон Рейзер». Развивая идеи Гердера и отчасти Гете, Мориц писал: «От того, что в мифологии скрываются тайные следы к древнейшей, неизвестной истории, делается она почтеннее. Ее вымыслы не суть пустая мечта или одна игра остроумия, которая исчезает в воздухе. Они тесно связаны с древнейшими приключениями и для того не могут быть почитаемы одною аллегориею».⁶ Согласно рассуждению Морица, мифология вместе с ее поэтическим потенциалом несла в себе «тайные следы к древнейшей истории». Между поэзией и историей устанавливалась, таким образом, система взаимоотношений, характеризуемых элементами детерминизма. Тем самым на-

⁴ Эйхенбаум Б. М. О прозе. Л., 1969, с. 204.

⁵ См.: Лотман Ю. М. Поэзия Карамзина. — В кн.: Карамзин Н. М. Полн. собр. стихотворений. М.; Л., 1966, с. 23; Вацуро В. Э. Литературно-философская проблематика повести Карамзина «Остров Борнгольм». — В кн.: XVIII век, сб. 8. Л., 1969, с. 202.

⁶ Московский журнал, 1972, ч. VI, кн. 3, с. 279.

носился удар по сентименталистской универсализации «чувства» (ср.: «человек везде человек»).

Другая важнейшая сторона рассуждений Морица состояла в постановке проблемы истины и вымысла не в традиционном их разграничении, а применительно к мифологии, в их взаимосвязи и взаимообусловленности. «Смешение истинного с вымыслом в древнейшей истории, — писал Мориц, — есть для глаз наших мерцающий горизонт. Если хотим мы, чтобы в сем отдалении когда-нибудь воссияла нам новая заря, то должно разбивать прилежно и тщательно все мифологические вымыслы, чтобы найти нить их сплетений и преданий». Через два десятилетия Карамзин почти дословно воспроизведет эти слова, которые станут для него программными: «Прилежно *истощая* материалы древнейшей российской истории, я ободрял себя мыслию, что в повествовании о временах отдаленных есть какая-то неизъяснимая прелесть для нашего воображения: там источники поэзии! Взор шаг в созерцании великого пространства не стремится ли обыкновенно — мимо всего близкого, ясного, — к концу горизонта, где густеют, меркнут тени и начинается непроницаемость?»⁷

Исторический принцип мышления, все более укрепившийся в размышлениях о судьбах государств и наций и о судьбах отдельного человека, вовлеченного в водоворот жизни, становится определяющим в мировоззрении и творчестве Карамзина. Этот принцип не только не разделяет его художественную прозу и «Историю государства Российского», но, напротив, позволяет выявить некоторые структурно-типологические явления, принципиально сближающие эти, казалось бы, различные по своей жанровой природе произведения. Процесс пересечения апалитического строя мысли и образно-эмоционального начала наблюдался в прозе, критике и публицистике 1790-х гг. Процесс этот был в какой-то степени стихийным. Французская революция ускорила созревание «философского разума»,⁸ потребовав от мыслящих людей эпохи дать оценку не только происходящего на их глазах события, но и века Просвещения в целом, уяснить его итоги, познать его заблуждения. Именно в размышлениях о революции, ее теории и конкретном воплощении принципов просветительской философии на первый план выдвинулась категория, ранее осознававшаяся скорее интуитивно, преломлявшаяся сквозь призму эстетического восприятия мира, — категория исторической необходимости.

* * *

Признание неизбежности совершившейся во Франции революции, всех ее перипетий вовсе не означало для Карамзина принятия революционной тактики. Более того, в 1800-е гг. эти понятия

⁷ Карамзин Н. М. История государства Российского. 2-е изд. СПб., 1818, т. 1, с. XXIII.

⁸ См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 23.

исторической необходимости и практической политики диаметрально расходятся. «Революция объяснила идеи, — пишет Карамзин в программной статье 1802 г., — мы увидели, что гражданский порядок священ даже в самых местных или случайных недостатках своих; что власть его есть для народов не тиранство, а защита от тиранства; что разбивая сию благодетельную эгиду, народ делается жертвою ужасных бедствий, которые несравненно злее всех обыкновенных злоупотреблений власти... что все смелые теории ума... должны остаться в книгах вместе с другими, более или менее любопытными произведениями остроумия; что учреждения древности имеют магическую силу, которая не может быть заменена никакою силою ума» (II, 268—269).

На первый взгляд суждения Карамзина могут показаться выражением типично охранительного мировоззрения: лучше «самое турецкое правление», чем революция, какое бы то ни было государственное потрясение. Однако на фоне общеевропейского кризиса буржуазного радикализма конца XVIII в.⁹ русская просветительская мысль должна была неизбежно, хотя, может быть, и несколько приглушенно, отразить те идейные противоречия, которые породила революционная эпоха. Остро чувствующий эти противоречия, Карамзин отнюдь не ставит точку на том, что учрежденный порядок есть благо. Ощущение глубокой трагичности конкретных форм исторического бытия становится его убеждением.

С этим духовным опытом, с критически трезвым взглядом на вещи Карамзин вступил в новую эпоху, эпоху коренных пересмотров, трагических итогов, эпоху, поставившую невиданные по глубине и сложности проблемы. Уяснить их предстояло не только с позиций русского общества, но в соотнесенности с европейской жизнью. Это определило масштаб осмысления социально-политических, философских и исторических проблем, освещенных на страницах карамзинского журнала «Вестник Европы».

Итак, мыслители XVIII в., в том числе Руссо, «предвидели» революцию, но ее результаты и последствия они предвидеть не могли. Перерождение республиканской Франции в империю Наполеона заставляло рассматривать и современный мир как движение истории, как воплощение извечных и непостижимых для человеческого разума законов необходимости, а главное неподвластных субъективной человеческой воле. Реально складывающиеся политические формы государственности все более воспринимаются Карамзиным как конкретное осуществление закона необходимости.

⁹ См.: *Карякин Ю. Ф., Плимак Е. Г.* Запретная мысль обретает свободу. М., 1966, с. 265. Как показывают современные исследования, даже наиболее успешную американскую революцию сопровождали явления кризисного характера. См.: *Каримский А. М.* Революция 1776 года и становление американской философии. М., 1976, с. 251—269.

От общефилософской, онтологической проблематики, характерной для повестей 1790-х гг., через ощущение трагического несовершенства современного мироустройства Карамзин приходит к раскрытию своей новой философско-художественной мысли в «Истории государства Российского».

В конце XVIII—начале XIX века интерес к истории необычайно возрос. Философия и мораль, политика и эстетика — все подвергается пересмотру с позиций «исторической истины». Об истории пишутся философские трактаты, над проблемой художественного воплощения истории размышляют Карамзин, Державин и Батюшков, Жуковский и Гнедич. Наиболее вдумчивые критики настоятельно советуют писателям и поэтам «вникать в характер российского народа, в дух российской древности».¹⁰ Поэтому объективно замысел Карамзина как нельзя более соответствовал духу эпохи.

Приступая к работе над «Историей», Карамзин строго определил для себя границы допустимой авторской фантазии, которая не должна была касаться действительных речей и поступков исторических персонажей. «Самая прекрасная выдуманная речь безобразит историю, посвященную не славе писателя, не удовольствию читателей и даже не мудрости правоучительной, но только истине, которая сама собою делается источником удовольствия и пользы».¹¹ Отвергая «вымысел» как приукрашивание истории, Карамзин вырабатывает основу своего исторического метода как синтез логики факта и эмоционального образа «минувших столетий». Из чего же складывался этот образ? Какова была его эстетическая природа? Противопоставляя историю роману, Карамзин существенно переосмыслил традиционно рационалистическое понятие «истины». Опыт писателя, апеллирующего не только к разуму, но и к чувству в процессе познания действительности, оказался необходим. «Мало, что умный человек, окинув глазами памятники веков, скажет нам свои примечания: мы должны сами видеть действия и действующих — тогда знаем историю».¹² Вот почему задача воспроизвести прошлое в его истинности, не исказив ни одной его черты, ставила перед Карамзиным особые задачи.

В своих размышлениях об истории Карамзин приходил к убеждению, что писать «об Игорях и Всеволодах» надо так, как писал бы современник, «смотря на них в тусклое зеркало древней летописи с неумолимым вниманием, с искренним почтением, и если вместо живых, целых образов представлял единственно тени, в отрывках, то не моя вина: я не мог дополнять летописи!»¹³

¹⁰ См.: *Фомин А.* Андрей Иванович Тургенев и Андрей Сергеевич Кайсаров. Новые данные о них по документам архива Н. П. Тургенева. СПб., 1912, с. 24.

¹¹ История государства Российского, т. 1, с. XIX.

¹² Там же, с. XVII.

¹³ Там же, с. XVI—XVIII.

Было бы, однако, неверно думать, что Карамзин от первого до последнего тома своей истории последовательно и неукоснительно придерживался именно тех принципов и соображений, которые были им высказаны в предисловии. По своей природе «художественные» элементы «Истории государства Российского» далеко не однозначны и восходят к разным источникам: это и традиции античной историографии, и своеобразное преломление исторического аналитизма Юма, и философско-исторические взгляды Шиллера. Карамзин не мог не учитывать также традиции русской историографии XVIII в., не прислушиваться к тем суждениям о принципах и задачах исторического сочинения, которые высказывали его современники. Собственная повествовательная система оформилась не сразу и не оставалась неизменной на протяжении двенадцати томов. Имея в виду всю реальную сложность и пестроту эстетических красок, которые использовались Карамзиным вопреки своим собственным теоретическим взглядам, можно тем не менее говорить об основной и важнейшей тенденции повествовательного стиля «Истории» — ее специфическом «летописном» колорите.¹⁴

В русской летописи Карамзину открывался мир с непривычными и во многом непонятными для «просвещенного» разума философскими и этическими измерениями. Две системы мысли неизбежно приходили в соприкосновение, и Карамзин, сознавая это, считал необходимым вести повествование на двух самостоятельных и самоценных уровнях: «летописном», предполагающем наивный и простодушный взгляд на вещи, и собственно историческом, как комментирующем «летописный». Приводя, например, в первом томе рассказ летописца о «мести и хитростях ольгиных», Карамзин одновременно поясняет, почему он, историк, повторил «несторы простые сказания». «Летописец, — говорит Карамзин, — сообщает нам многие подробности, отчасти не согласные ни с вероятностями рассудка, ни с важностью истории; но как истинное происшествие должно быть их основанием и самые басни древние любопытным для ума внимательного, изображая обычаи и дух времени, то мы повторим несторы простые сказания».¹⁵

Далее следовал пересказ легенды, выдержанный в исключительно точной поэтической тональности. Таких «пересказов», и весьма художественных, в первых томах немало. Так, в рассказе о «хитростях Ольги» перед нами предельно близкий к летописному образ коварной жены убитого князя, задумавшей жестокую месть древлянам. На простодушное приглашение древлянских послов стать женой их князя «Ольга с ласкою ответствовала: „Мне приятна речь вапа. Уже не могу воскресить супруга. Зав-

¹⁴ См. об этом подробнее: *Лузянина Л. Н.* «История государства Российского» и трагедия Пушкина «Борис Годунов» (К проблеме характера летописца). — *Русская литература*, 1971, № 1, с. 45—57.

¹⁵ *История государства Российского*, т. 1, с. 160.

тра окажу вам всю должную честь. Теперь возвратитесь в ладью свою, и когда люди мои придут за вами, велите им нести себя на руках". Между тем Ольга приказала на дворе теремном ископать глубокую яму и на другой день звать послов». ¹⁶ Карамзин не стилизует свой «пересказ» под летопись, но стремится максимально объективировать тот взгляд на вещи, который явственно выступает в повествовании древнего летописца. И читателя своего Карамзин хотел бы научить воспринимать прошлое во всей простоте и безыскусности древних представлений.

По мере работы над «Историей» Карамзин все более внимательно всматривается в образно-стилистическую структуру древнерусского памятника, будь то летопись или «Слово о полку Игореве», отрывки из которого он перевел в третьем томе. В свое повествование он вкрапляет летописные детали, образные выражения, придавая тем самым особую окраску и своей авторской интонации. Один из самых строгих критиков Карамзина, декабрист Н. И. Тургенев, записывал в дневнике: «Я читаю третий том Истории Карамзина. Чувствую неизъяснимую прелесть в чтении. Некоторые происшествия, как молния проникая в сердце, роднят с русским древнего времени. . .» ¹⁷

От тома к тому Карамзин усложнял свою задачу: он пытался передать и общий колорит эпохи, найти связующую нить событий прошлого и в то же время «изъяснить» характеры людей, тем более что круг источников становился обширнее, являлась возможность выбора той или иной трактовки. Карамзина увлекала эта возможность уже не просто констатировать поступки исторических героев, но психологически обосновать те или иные их действия. Именно под этим углом зрения создавались Карамзиным наиболее полнокровные характеры его «Истории» — Василия III, Ивана Грозного, Бориса Годунова. Примечательно, что, создавая последний том, Карамзин внутренне соотносил свои методы и задачи с теми принципами, которые воплощал в это же время в своих исторических романах Вальтер Скотт. ¹⁸ Конечно, Карамзин не собирался превращать «Историю государства Российского» в роман, но это сближение было правомерно: и в романах Вальтера Скотта, и в «Истории» Карамзина вырабатывалось новое качество художественного мышления — историзм. Обогащенный опытом многолетнего общения с историческими источниками, Карамзин переходит к изображению сложнейшей исторической эпохи — так называемого Смутного времени, стремясь раскрыть ее главным образом сквозь призму характера Бориса Годунова.

Карамzinу часто вменяли в вину, зачем он взял летописную версию об убийстве царевича Дмитрия и развил ее как достовер-

¹⁶ Там же, с. 160—161.

¹⁷ Архив братьев Тургеневых. Пг., 1921, т. III, с. 114.

¹⁸ См.: *Макогоненко Г. П. Карамзин и Просвещение.* — В кн.: *Славянские литературы. Материалы VII Международного съезда славистов.* М., 1973, с. 308—310.

ный факт? Но в использовании этой версии Карамзин исходил прежде всего из своей давней концепции трагического фатализма. «Гибель Димитриева была неизбежна», — пишет Карамзин, ибо, по мысли историка, ослепленный честолюбием Годунов уже не мог остановиться перед последним препятствием, отделявшим его от царского трона. Пусть он приведен был к этому рубежу стихийною силой исторических обстоятельств — Карамзин не снимает с него всей тяжести вины. «Судьба людей и народов есть тайна провидения, но дела зависят от нас единственно», — этому критерию оценки человеческой личности, выдвинутому еще в «Марфе Посаднице», Карамзин остался верен и в «Истории государства Российского». Вот почему, создавая трагические по своей сути характеры царей-тиранов Ивана Грозного и Бориса Годунова, Карамзин судит их судом истории с позиций высшего нравственного закона, а его суровое: «Да, видя содрогаемся!» звучит как урок и предостережение самодержцам.

Среди многообразных аспектов проблематики «Истории государства Российского» следует отметить и своеобразно раскрытую Карамзиным проблему народного характера. Самый термин «народ» у Карамзина не однозначен; он мог наполняться различным содержанием. Так, в статье 1802 г. «О любви к отечеству и народной гордости» Карамзин обосновывал свое понимание народонации. «Слава была колыбелию народа русского, а победа — вестницею бытия его» (II, 283), — пишет историк, подчеркивая самобытность национального русского характера, воплощением которого являются, по мысли писателя, знаменитые люди русской истории. Карамзин не делает здесь каких-то социальных разграничений: русский народ предстает в единстве национального духа, а «правители» народа являются носителями лучших черт национального характера. Таков князь Ярослав, Дмитрий Донской, таков Петр Великий.

Тема народа-нации занимает важное место и в идейно-художественной структуре «Истории государства Российского». Многие положения статьи «О любви к отечеству» были здесь развернуты на широком историческом материале. Декабрист Н. М. Муравьев уже в описании древнейших славянских племен почувствовал предтечу русского национального характера — увидел народ, великий духом, предприимчивый, заключающий в себе «какое-то чудное стремление к величию».¹⁹ Глубоким патриотическим чувством проникнуто и описание эпохи татаро-монгольского нашествия, тех бедствий, которые испытал русский народ, и того мужества, которое он явил в своем стремлении к свободе. Народный разум, говорит Карамзин, «в самом величайшем стеснении находит какой-нибудь способ действовать, подобно как река, запертая скалою, ищет тока, хотя под землею или сквозь камни со-

¹⁹ *Муравьев Н. М. Мысли об «Истории государства Российского».* — Литературное наследство. М., 1954, т. 59, с. 595.

чится мелкими ручейками». ²⁰ Этим смелым поэтическим образом заканчивает Карамзин пятый том «Истории», повествующий о падении татаро-монгольского ига.

Но обратившись к внутренней, политической, истории России, Карамзин не мог миновать и иного аспекта в освещении темы народа — социального. Современник и свидетель событий Великой французской революции, Карамзин стремился уяснить причины народных движений, направленных против «законных правителей», понять характер мятежей, которыми была полна русская история уже начального периода. В дворянской историографии XVIII в. широко бытовало представление о русском бунте как проявлении «дикости» непросвещенного народа или же как результате происков «плутов и мошенников». ²¹ Карамзин делает значительный шаг вперед в уяснении социальных причин народных мятежей. Он показывает, что предтечей почти каждого бунта является бедствие, порой и не одно, обрушивающееся на народ: это и неурожай, засуха, болезни, но главное — к этим стихийным бедам добавляется «утеснение сильных». «Наместники и тиуны, — замечает Карамзин, — грабили Россию, как половцы». И следствие этого — горестный вывод летописца, к которому внимательно прислушивается автор «Истории»: «... народ за хищность судей и чиновников ненавидит и царя самого добродушного и милосердного». ²² Однако грозная и разрушительная сила народных мятежей заставляла Карамзина усматривать в них некий провиденциальный смысл, карающую волю всевышнего. Сложной, исполненной трагических противоречий рисовал Карамзин историю России. Неотступно вставала со страниц книги мысль о моральной ответственности власти за судьбы государства. Вот почему традиционная просветительская идея монархии как надежной формы политического устройства обширных государств — идея, разделяемая Карамзиным, — получила в его «Истории» новое наполнение. Верный своим просветительским убеждениям, Карамзин хотел, чтобы «История государства Российского» стала великим уроком царствующим самодержцам, научила бы их государственной мудрости. Но этого не произошло. ²³ «Истории» Карамзина было суждено иное: она вошла в русскую культуру XIX века, став прежде всего явлением литературы и общественной мысли. Она открыла современникам огромное богатство национального прошлого, целый художественный мир в живом облике минувших столетий. Неисчерпаемое многообразие тем, сюжетов, мотивов, характеров не на одно десятилетие определило притяга-

²⁰ История государства Российского, т. 5, с. 410.

²¹ См.: *Тагищев В. Н.* Разговор двух приятелей о пользе науки и училищ. Чтение в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. М., 1887, кн. 1, с. 65.

²² История государства Российского, т. 3, с. 29—30.

²³ См.: *Вацуро В. Э.* Подвиг честного человека. — В кн.: *Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И.* Сквозь «умственные плотины». М., 1972, с. 38 и след.

тельную силу «Истории государства Российского». Но наиболее проникательные современники Карамзина, и прежде всего Пушкин, усмотрели в этом сложном произведении еще одну, важнейшую, сторону — становление историзма. Это был путь развития философской и художественной мысли эпохи, и Карамзин своей «Историей» призван был, по словам Белинского, «проложить дорогу, чтобы гениальные писатели в разных родах не были остановлены на ходу своим необходимою предварительных работ».²⁴

²⁴ Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1955, т. IX, с. 679.